

ЮДИТ АГРАЧЕВА

КОГДА Я БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ

Рассказ

1

Когда я была маленькая, мне сшили шубу — перешили из маминой. Шуба была мутоновая, коричневая, неподъемной тяжести и на вырост. На много-летний вырост. Потому что нельзя же было испортить мамину шубу так, чтобы мне сшить всего на год или два. Потом, что ли, следующую мамину шубу резать?

И вот я шла, по питерским проходным дворам, вся — шуба. А в каждом дворе компания мальчиков, злых и жестоких, которым всем предстояло весной меня, конечно, любить, но зимой кому ж из них было об этом известно? И вот они все надо мной смеются — и в одном дворе, и в другом, и обзываются, и свистят, и кричат, окружая и вслед, что-то жутко обидное, типа «шуба идет», и с разными красочными прилагательными.

А мне даже голову было не повернуть так, чтобы плюнуть в их сторону, и не огрызнуться, потому что воротник шубы был выше рта.

Еще шапка была шерстяная, ерзающая и колючая. Может, тоже из маминых забракованных. И вот я ее взяла, эту шапку, безразмерную и бесформенную, и натянула до самого носа. И дальше пошла. Сверху шапка, снизу шуба. А меня больше нет!

И все, кто смеялись, уже смеялись не надо мной.

И больно уже — не мне.

...

2

Когда я была маленькая, нам задали на дом написать сочинение на тему «Как я провел зимние каникулы».

Я открыла новенькую тетрадку, написала название сочинения, план, потом написала, что я отдыхала в доме отдыха в Комарово и каждый день ходила на лыжах по лесу. Что было чистой правдой.

Поэтому мне стало скучно. Я перевернула страницу и, чтобы восстановить забывающуюся атмосферу леса, этот лес нарисовала. Очень похоже.

Поскольку картинка мне показалась скучной, я решила, что деревьям хорошо бы поговорить между собой. И поэтому каждому из деревьев я пририсовала рот, а к каждому рту — текст.

Поскольку это был именно тот текст, который и произносят обычно деревья, то мне стало скучно. Я перелистнула страницу и нарисовала людей, которые не слышат, о чем

Юдит Аграчева родилась в Москве в 1958 году. С 1960 года жила в Ленинграде. Окончила Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена (отделение литературы и русского языка). С 1990 года живет в Израиле.

говорят деревья и катаются себе на лыжах. И люди, и лыжи получились очень реалистичными. Поэтому мне стало скучно. Имело смысл рассказать о текстах, рожденных хрустом лыж о свежепроложенную лыжню, и я перевернула страницу.

Текст могла слышать, если не отступать от правды, только я. Поэтому я нарисовала себя. Введение в картину автора развязало мне руки, и писать, перелистнув страницу, можно было уже не только о том, кто что сказал, но и о том, что я подумала. Ведь автору, то есть мне, могли быть известны мои же собственные мысли, как и наоборот, в смысле мне — мысли автора.

Поскольку я воспроизвела все, о чем думалось в том зимнем лесу, то мне стало скучно. Перелистнув страницу, я изложила те чувства, которые посетили меня в момент написания сочинения, то есть через определенное время после выхода из леса, который по начальному замыслу должен был оставаться темой моего сочинения. Взломав рамки классицизма и перевернув страницу, я с удивлением обнаружила, что тетрадь кончилась.

Несмотря на то, что тема осталась нераскрытой, больше я никогда, никогда не отдыхала зимой в доме отдыха в Комарово.

Да и зачем, собственно, нужно возвращаться в реальные обстоятельства после того, как на их описание уже ушла вся тетрадь?

...

3

Когда я была маленькая, я была очень послушная девочка. Чему меня учили, то и делала.

Меня учили сидеть ровно, не ерзать, не чесаться, не вертеть головой, не дергать ногой, не крутить ничего в руках: «Села тихонько, на краюшек, аккуратно и молча, а не плюхнувшись в сопровождении „уфф“ какого-нибудь или вообще „пуфф-пуфф“, коленочки вместе, сложила ручки». Вот чтобы все по линейке: ножки по линейке, ручки и спинка. По разным линейкам, разумеется, но чертеж я держала перед глазами.

И ходить меня тоже учили ровно. Не разглядывать, раскручиваясь юлой, облака, не тарашиться, замерев, на прохожих. И ногами не загребать, и не подбирать постоянно какие-то камни с дороги. «Грязь, грязь, выбрось немедленно, никакая это не тень, отвалившаяся от птицы!»

Ровно — это значит выстроить спинку в линейку, и ножки, и ручки, и головку... и все что в головке, и шаг, и вздох, и стон, и смех, и жизнь, и смерть.

Я не возражала. Вообще-то, мне нравилось все складывать по линейке: карандашики, тетрадочки, маечки (две), трусики (три), букочки (очень много)...

И нравилось, что меня хвалили.

А потом, когда все уходило из дома, я забиралась в шкаф к маме, вытаскивала от туда что-нибудь из вещей, ею сложенных (по линейке): чулки (25), лифчики (15), платья (2515 приблизительно), шубы (о Господи, об этом даже страшно вспомнить), брала ножницы и разрезала на части. Неровные.

Видимо, была эстетическая потребность сломать линию. Иначе как же это объяснить?

...

4

Когда я была маленькая, я должна была умереть, как только родилась. Так маме и сказали: «Эта — не выживет!»

И отнесли меня туда, где лежат дети, которые должны вот-вот умереть.

Я не помню, как выглядело это место, но всякий раз, когда я попадаю туда, где все должны вот-вот умереть, я вспоминаю, что я там уже была.

Оказалось, что у меня с мамой резус-конфликт, ее антитела для меня смертельны, но ей ничего не грозит. Поэтому она может идти домой. Но мама домой не пошла — наверное, ждала, пока я умру, чтобы потом еще раз не возвращаться. А папа тем временем переворачивал город, чтобы найти какой-нибудь выход.

Я не помню, как именно выглядел перевернутый папой город. Но каждый раз, когда мне требуется найти выход, я понимаю, что его не найдешь, нарезая те же круги по тем же маршрутам. Надо взять этот город, со всеми его удобными улицами, знаковыми переулками, тропинками, привычными тупиками, садами, домами, парками, людьми любимыми и нелюбимыми, и обязательно перевернуть.

Папа нашел и привез профессора, который мне перелил кровь и пообещал, что я буду жить.

Но врачи и санитарки сказали, что многое видели за время работы в больнице и поэтому даже если я выживу и поживу немножко, то все равно останусь физически недоразвитой, или отсталой умственно, или и то и другое вместе. И они бы такое домой ни за что не взяли, потому что: «Вообще неизвестно, что от нее ждать».

Я не запомнила точно голосов тех врачей и санитарок. Но всякий раз, когда слышу, что от меня неизвестно что ждать, я вспоминаю, что именно с этим напутствием меня и выписали оттуда, где все вот-вот должны умереть.

...

5

Когда я была маленькая, я летом летала с родителями на юг, в дома отдыха. Дома отдыха в разные годы были в разных местах юга. Но везде были одинаковые открытые кинотеатры, один и тот же сладкий горячий запах магнолии и крутились одни и те же картины, застревавшие кажется, на тех же сценах. Фильмы были индийские и арабские. Я их не различала. Там всегда были препятствия для достижения неведомых целей, в процессе преодоления которых все сначала жестоко дрались, а потом кровопролитие немотивированно переходило к ритуальным руладам.

Задела меня, однако, зацепив однажды и навсегда, повторяющаяся основа сюжетов. Например, одну из сестер украли в младенчестве, и она выросла в другой семье. Или юноша влюбляется в девушку, но она оказывается его сестрой, потому что в детстве ее украли.

Так, однажды, душным и влажным вечером меня постигло ясное как день откровение (да, банальное, как прояснилось позже из психологических книжек): меня тоже украли или подменили в роддоме! Наверняка та девочка, которую родила мама, умерла, а папа, чтобы не расстраивать маму, договорился с профессором, который привез другую, живую девочку.

Вот теперь-то все и объяснилось! И стало понятно, почему я дома всегда давлюсь каждой ложкой невыносимой склизкой остывшей каши. И от позавчерашних щей меня выворачивает. И от жирных котлет. И от масла, на котором жарились эти котлеты, и другие, и вообще не котлеты, сто дней подряд. И горло слипалось от приторного холодного чая. Если бы я была мамина дочка, то ведь я бы любила то, что готовит мама?

Те серые с серебристыми холодными переливами обои, к которым нельзя прислониться, полированный стол, на который ничего нельзя положить, зеленая штора до пола, отгораживающая мою кровать от родительской и заодно от воздуха, — разве это моя жизнь?!

Детский стульчик, на котором надо было сидеть ровно и тихо. Полочка, на которой покоились аккуратно и неподвижно, как мертвые, в коробках две куклы. На каждой коробке я написала имя лежащей там куклы — одна была названа в честь мамы, другая в честь бабушки. И как в них после этого было играть?

А над крашенным в синий цвет столиком висела розовая фанерная картина, на которой уродливый заяц, глядя на меня тупым взглядом, указывал волосатым перстом на текст: «Видишь коврик у порога? Он положен неспроста. Вытирай получше ноги. В нашем доме чистота».

Разве это моя жизнь?!

«Ну откуда, — кричала мама, — откуда ты такая взялась?»

А я кричала в ответ: «Вы меня украли!»

И тогда она, возмущенная, плача и покрываясь красными пятнами, что-то мне продолжала кричать, наверное, от беспомощности и отчаяния. Но я не задумывалась тогда отчего. Я топала ногами и кричала в ответ: «Аааааааа», так долго, как только могла. А потом крик прерывался хрипом, я задыхалась и заходила наконец, падая, в приступе астмы.

Тогда мама меня хватала, заворачивала в одеяло, и мы мчались в больницу с сиреной по улицам, даже на красный свет, в «скорой помощи», где мне на лицо надевали маску с трубочкой, как для ныряния, но оттуда шел какой-то пар.

В больнице перед глазами плавно плыли люди с тихими голосами, в коридорах — белые стены, к которым разрешено прислоняться, в палате белые тумбочки, на которые можно все класть. Белье было хрустящим и белым, и на окнах белые ситцевые занавески. Посещение запрещено — никаких родителей! А кругом — девочки, девочки, девочки. Каждая со своей бедой, о которой она рассказывала шепотом, когда выключали вечером свет. А потом я каждую убеждала, что это совсем не беда, потому что во многих фильмах я видела вот такую или такую историю. И я рассказывала истории виденные и придуманные.

И это была — моя жизнь!

...

6

Когда я была маленькая, меня подозвали к себе старшие девочки. Они были очень взрослые, старше меня на месяц, год или даже десять. Не знаю на сколько.

Они решили играть в дочки-матери и меня взяли дочкой. Летом на пустыре, заброшенном, под бледными питерскими деревьями.

Взяли с условием: «Только это совсем не игра. Мы тебя примем, если ты согласишься, чтобы все было по-настоящему».

Я с благоговением согласилась.

Сначала, сказали они, мы тебя будем причесывать. Я встала в центр круга и стояла не шевелясь. Мне распустили волосы, потом их начесали. Потом, чтобы избавиться от начеса, который никак не расчесывался, пришлось выдрать кое-где клочья, а то неровное, что осталось, чтобы не сразу бросалось в глаза, приколоть ржавой заколкой к незатянувшемуся родничку.

Я поняла, что «по-настоящему» — это когда очень больно. А иначе не по-настоящему.

Теперь, сказали они, мы тебя будем укладывать спать. Ты должна раздеться. Я разделась, легла на землю на спину и лежала не шевелясь. Они сначала ходили вокруг, потом сели, кто на корточки, кто на коленки, и принялись, наклонившись, рассматривать все, что им показалось важным увидеть.

Я поняла, что «по-настоящему» — это когда очень стыдно. А иначе не по-настоящему.

А сейчас, сказали они, мы тебя будем кормить. Подобрал консервную банку, они напихали туда, нарвав, заячью траву — такая росла на том пустыре. Добавили землю. Все это перемешали подгнившей щепкой и велели мне съесть.

«Это же есть нельзя», — прошептала я.

«Ну и не ешь, — сказали мне девочки, — но тогда будет не по-настоящему».

Я поняла, что «по-настоящему» — это когда можно умереть. А иначе это игра.

Я съела. И зелень, и землю. Я знала, что смерть неминуема. И спросила серьезно, совсем не плача, у них, которые были намного старше: «Когда я теперь умру?»

«Это же заячья трава! От нее не умирают, — засмеялись девочки. — Ты просто ночью, сегодняшней скорее всего, превратишься в зайца. Ну, может, и завтра. Но навсегда».

...

7

Когда я была маленькая, папа любил меня утром так.

Едва проснувшись, он выпрастывался из-под одеяла, в черных сатиновых семейных трусах и бесцветной, провисшей под мышками майке. Приподнимался. Его смутный взор с удивлением наткнулся на мою кровать, почти впритык придвинутую к взрослой. Опираясь одной рукой на перила, он второй приподнимал мое одеяло, чтобы убедиться, что это именно я, и дышу, и соплю, и прокуреным, осевшим за ночь голосом, выдававшим сиплых петухов, начинал осторожным прерывистым речитативом:

«Маме, мег их гей шпацирн? Йо, майн либе тохтер!.. Маме, мег их романцирн? Йо, майн либе тохтер!»...

По вечерам папа любил меня так.

Вернувшись с работы, он был всякий раз потрясен, обнаружив, что на маршруте к кухне я попадалась у него на пути, например, сидящая на горшке. Никак не выясняя, на какой стадии находится процесс, он выхватывал меня за подмышки, как есть, прижимал мое лицо к колючему своему и обмусоливал мокрыми поцелуями. Потом, держа меня, обвисшую, на своих вытянутых руках, запевал очищенным за день, нежным лирическим тенором : «Я встретил девуушку, полумесяцем бровь, на щечке родиинка, а в глазах люююбовь...» Совершив почти пируэт, он возвращал меня обратно, не всегда, правда, совмещая центр горшка с моим...

...

Каждый раз папу потрясала встреча со мной, потому что сначала, — но уже после того как он прошел всю войну, а его семью тем временем сожгли, заперев, в сарае, — его арестовали и посадили в тюрьму, потом отправили в лагерь в Воркуту, а потом, уже после сто первого километра, неожиданно получилась я. Хотя папа думал, что у него уже никогда ничего не получится.

...

Когда я чуть подросла, папа любил меня так.

Он ко мне немножко привык, но скорее как к чуду, а не как к конкретному существу со своими физическими и метафизическими параметрами, в подробности которых он просто не вникал.

«Какое, какое имеет значение, в каком классе она учится! — возмущенно кричал он кому-нибудь из дотошных друзей, понятия не имея на самом деле, в каких вообще рамках происходит мое обучение. — Да она в любом, куда ее ни посади, будет отличницей!»

В период моего подросткового увлечения охтинскими притонами папа любил меня так.

Во-первых, нашел. И несмотря на то, что туда никто не входил, даже милиционеры, он — это уже во-вторых — вошел. А я — там, в уголочке, на ящике с одеялами, подбрав ноги, с неподдельным восторгом слушаю байки про жизнь и смерть. Поскольку ребята меня там с нежностью берегли, видимо, слушала я, как им надо: задавала правильные вопросы, сопереживала, ну вся как есть, плакала там, смеялась, просила, чтобы продолжали еще. Если бы папа ворвался туда и захотел забрать меня силой, думаю, кончилось бы поножовщиной. Но он вписался с какой-то правильной пластикой, безошибочно выделил, с кем здороваться первым. Язык для него был привычный. Его подпустили ко мне. Подсев, он тихо сказал: «Пойдем, перекурим на воздухе... Только ты давай поднимись, и выберемся на часок. Захочешь — вернешься».

И нас — это в-третьих — пропустили и выпустили...

Когда я выходила замуж, папа любил меня так.

— Слышь, как профессор профессору говорю, — напутствовал он моего избранника, держа его за лацкан свадебного пиджака, — я тебе ее пока доверяю. Ты понимаешь, да, ну, если ты ее, там, или ты, наоборот, например, или если она вдруг, то это тоже твоя ответственность, ну, в общем, ты понял, да, что если что, то что именно я тебе оторву?..

Когда я переехала в Израиль, папа любил меня так.

«Я понятия не имею, моя дорогая дочь, — писал он в своем последнем письме из Питера, — какие у тебя позиции относительно политической и экономической обстановки в твоей стране, а также международного положения. Мне не известны твои сегодняшние взгляды на семейную жизнь, а также твои профессиональные планы. Но знай, что все твои взгляды, позиции и планы я полностью разделяю!»

...

8

Когда я была маленькая, мама должна была звонить бабушке два раза в день. Вечером, чтобы рассказать, как прошел день, и утром, чтобы рассказать, как прошла ночь. А также «хотя бы поинтересоваться у матери, жива ли она вообще».

Мама плакала во время каждого разговора, после каждого и иногда еще до разговора.

— Я не для того всю жизнь экономила, — кричала бабушка в телефон, — чтобы все это раздавать направо-налево, направо-налево!

А мама кричала:

— Я не «направо-налево», я — твоя дочь! И я тебя попросила об одолжении!

— Я тебя тоже просила об одолжении, — кричала бабушка, — чтобы ты воспитала как положено, свою дочь!

А мама ей отвечала:

— Ее воспитаешь! Порода уродская, вся — в своего отца!

— Тебя замуж силой не выдавали, — бабушка не проявляла эмпатию, — жила дома как сыр в масле...

Про сыр в масле мне особенно нравилось. Я представляла себе, что мама — такая головка сыра, обернутая красной пленкой, а внутри желтая и дырявая. И вот это все попадает в масло. А масло разогревается, и сыр начинает плавиться и терять форму, сначала снизу, потом оседать и продолжать растекаться.

Я не задавалась особенно вопросом, почему они все кричат. У моих друзей тоже все дома кричали, и у соседей, и на улице. Воспитательница в детском саду кричала, и доктора в поликлинике, уборщицы, продавщицы, портнихи, водители, контролеры и кондукторы в трамваях, автобусах и троллейбусах, все и всегда кричали в бесконечных очередях...

Кто-то сказал при мне, что моя бабушка прошла рядом с дедушкой всю войну. И я так себе и представляла, что они идут рядышком, под руку, а вокруг все взрывается, земля и камни вздымаются фонтанами вверх, всех подбрасывает и переворачивает. А они продолжают идти и беседовать, но из-за взрывов им плохо слышно.

А мама, кто-то мне рассказал, в это время была в эвакуации, и там сплавляла деревья на холодной реке. Она стояла на берегу, как и другие подростки, и если к ней подплывало бревно, она отталкивала его палкой к середине реки. Конечно, чтобы сообщить, что у нее околели руки или она теряет сознание, надо было кричать...

Направо-налево бабушка не хотела раздавать бриллиантовые кольца, серьги, браслеты. А мама очень хотела ходить с папой на важные приемы именно в бабушкиных украшениях. У мамы были свои украшения, очень много, по-моему, целая хрустальная вазочка под зеркалом в спальне. Тоже серьги, кольца, браслеты. Но они были золотые, без бриллиантов.

Бабушка требовала от мамы взамен своих украшений, чтобы мама так меня воспитала, чтобы я тоже ей регулярно звонила. «Хотя бы поинтересоваться у бабушки, жива ли она вообще».

Поэтому бабушка кричала на маму. А мама потом — на меня.

А я думала, как же решить проблему, чтобы все перестали кричать.

И однажды вдруг поняла!

План был двухэтапным. Как я осуществлю второй этап, я решила подумать завтра. Но начать осуществление первого можно было немедленно.

Перед тем как выйти гулять, уже одетая, я забежала в мамину спальню и высыпала в карман из хрустальной вазочки все золотые кольца, серьги, браслеты.

Потом на улице, проскочив поле видимости из окон и отдышавшись, я спокойно уже зашагала вдоль проходных дворов. Доставая время от времени какую-нибудь из оттягивающих карман, пропитанных злом и завистью золотых безделушек, я забрасывала их, одну за другой, так далеко, как только позволяли силы, направо-налево, направо-налево...

...

9

Когда я была маленькая, мой портрет в овальной ажурной раме из черного золота висел в самом центре самой главной стены квартиры бабушки с дедушкой.

На этой стене не было ни шкафов, ни сервантов, ни полок. Только два бра, над креслами, в виде бронзовых ангелов, которые тонкими ручками направляли светильники, специально, чтобы подсвечивать мой портрет.

На портрете я была чуть растрепанная. Сползшая белая рубашка оголяла мое смуглое и угловатое плечико. В моих глазах был такой огонь, будто ничего-ничего нельзя было скрыть от этой девочки. Она сразу видела ложь. Даже не надо было специально врать вслух, произносить запутанные, фальшивые речи. Просто если кто-то что-то скрывал, даже молча, она сразу видела. На этом портрете я была очень похожа на цыганскую девочку, как я ее себе представляла.

...Когда бабушка мыла тарелки, то дедушка брал из ее рук вымытые, одну за другой, вытирал большим льняным полотенцем и укладывал в стопку. А фужеры и бокалы, перемытые бабушкой, дедушка, протерев фланелевым полотенчиком, устанавливал в ровный ряд. Потом бабушка открывала нужные дверцы от нужных шкафчиков, и дедушка ставил туда то, чему было определено там стоять.

Когда бабушка начинала жарить что-нибудь в глубоком масле, например клопсы или корюшку, то дедушка ставил вокруг сковородок вырезанные им из картона и про-

мазанные специальным составом уголки, как стоячие обложки книг, чтобы масло не брызгало на стену и другие комфорки.

А когда бабушка гладила, дедушка расправлял и растягивал тот кусок ткани, к которому направлялся утюг.

В этом доме меня никто не воспитывал. Когда я спрашивала почему, мне отвечали: «Зачем? Разве ты что-то скрываешь от взрослых? Разве ты кого-то обманываешь?»

Еще не хватало. Обманывать!

Я же знала, что дети и даже взрослые, если только кого обманут, то тут же сгорят в огне. Причем быстро сгорят только те, которые не специально соврали, а, например, от страха и потом побоялись признаться. А вот те, которые специально обманули, продумав вранье заранее и решив, что им можно, или обманывали в течение долгого времени, те не просто будут гореть в огне, а сначала долго-предолго мучаться.

Бабушка с дедушкой были так поглощены друг другом, что я бы подумала, может быть, что никому в этом доме не интересна, если бы не мой портрет, который висел у них в самом центре квартиры.

Что бы они ни делали, проходя мимо картины, они всегда говорили: «Ах, красота!» А проходя мимо меня, немножечко удивленно: «Вот ведь цыганенок!»

Я очень любила свой портрет. Кто и когда меня нарисовал, я не спрашивала. Может быть, вообще мой портрет появился в квартире бабушки с дедушкой еще раньше, чем я. Там было очень много сказочных и необъяснимых вещей, которые появились раньше чем я.

Сам дом был волшебным, с башнями и часами, которые отбивали время и днем и ночью; узким и длинным двором, куда не проникал ни один луч ни солнца, ни луны; со странным адресом «Пять углов» и квартирой, состоящей из преогромной комнаты с бесчисленными углами.

Войдя в подъезд, люди шли к стучащему, скрипящему, дышащему жаром лифту или лестнице с витыми перилами. А к бабушке с дедушкой надо было идти за лифт, под лестницу, вниз, где была тайная дверца. И взрослые, чтобы туда войти, должны были пригнуться. «Бывшая петербургская дворницкая», — говорили про эту квартиру, не похожую ни на какое жилье на свете.

Там, внутри, был альков, отделенный портьерами, как в театре, с падугой и воланами. Портьеры были тяжелые, бархатные, внахлест, такие бесконечно широкие, что в них можно было, если зацепиться за край и начать заворачиваться, обернуться тысячу или больше кругов. Там была хрустальная люстра, как в музее, с тысячей или больше совершенно разных по форме деталей, огромных и крохотных. Все это — когда ее мыли — снимали и раскладывали по ванночкам, тазам, мискам и маленьким плосечкам с мыльной водой. Если бы вдруг в квартиру проник ветер, то все подвески зазвенели бы тысячей или больше неземных голосов. Но ветра там не было. Окон я не помню вообще.

Если не принимали гостей, то в комнате теплится тусклый электрический свет. В его отблесках глаза девочки горели еще сильнее. Я садилась на мягкий диван в парчовых чехлах, которые шила бабушка по лекалу, вырезанному предварительно дедушкой. Я облакачивалась на атласные подушки с птицами и цветами, бисером вышитыми бабушкой. Я сползала, специально скользя спиной по шелку, и полулежа смотрела на свой портрет.

«Никто никогда нас с тобой не обманет», — говорила я девочке. И она отвечала: «А если вдруг кто обманет, то он умрет. Но не сразу. Он сначала помучается страшно-престрашно». А потом мы с ней хором шептали заклятие: «Он будет гореть в огне. Он будет гореть в огне».

Было и правда немножко страшно. Ноги, если снять тапочки, мне разрешали закинуть на пуфик. Пуфик, столярный шедевр бабушки, был расшит бабушкой золотыми драконами, и у каждого из зубастой блестящей пасти вырывались клубящиеся языки пламени, ожидающие лжецов.

...Даже когда я не сидела напротив портрета и была далеко от квартиры бабушки с дедушкой, цыганская девочка неразлучно была со мной. Если меня принимался ругать кто-то из взрослых несправедливо, я умела так посмотреть, глазами со своего портрета, что прерывалась ругань и захлебывался поток удивленно-отчаянным «вот ведь цыганская кровь!».

А когда в меня намеревались влюбиться мальчики, я честно предупреждала всех до единого, чтобы сначала взвесили свои возможности, потому что меня ни обмануть, ни разлюбить будет никак нельзя. Кто полюбит, тот будет любить до смерти. Кто обманет, тот будет гореть в огне.

Так и было. Шли годы. Потом я оставила Питер. Потом все переехали. Потом все умерли. Потом меня вдруг спросили, не хочу ли я что-нибудь из вещей бабушки с дедушкой. Я сказала, что, конечно, хочу. Картину с цыганской девочкой. Мне ответили, что, во-первых, это был мальчик. А во-вторых, эта бумажная копия неизвестно кого, приобретенная в комиссионке, при пожаре сгорела дотла вместе с пластмассовой рамкой...

...

10

Когда я была маленькая, у моей бабушки было много братьев и сестер, из которых мало осталось в живых.

И тех и других я иногда рассматривала на коричневых фотографиях в альбомах. У каких-то фотографий было узорчатое обрамление, а какие-то оказались приклеенными прямо с оборванными краями или замятыми уголками. Такие альбомы хранились у нас дома и у тех бабушкиных сестер — мне совершенно чужих, пахнущих приторными духами пожилых дам в халатах с золотыми птицами, — которых мы с мамой зачем-то регулярно ездили навещать.

Эти поездки всегда были скучными, потому что единственное развлечение, которое меня там ждало, — рассматривать эти альбомы с коричневыми фотографиями.

Хуже всего приходилось зимой. Надо было втискиваться в трамвай, куда ломилась толпа сердитых людей. Под меховой шапкой — перехваченный под подбородком и завязанный сзади платок, от которого мокро и жарко голове, а от узла больно сзади, на шее. Сидячих мест нет. Из-за толстых кусачих носков, всунутых в войлочные сапоги, приходилось подгибать пальцы ног. Мама меня держала, не отпуская, за руку в варежке, чтобы меня не снесло толпой в сторону. Потом больно тянула, чтобы не заезжаться и заранее протиснуться к выходу. Когда мы протискивались, мое лицо все время терлось о чужие грубые пальто, и я старалась не оцарапать щеки пуговицами.

Дольше всех надо было ехать к старушке, которую звали тетя Верушка. «Тридцать три несчастья», — говорили про нее родственники, но называли всегда только три: нищету, болезни и одиночество.

От трамвая надо было долго и почему-то быстро идти по едва освещенной, почти пустой улице, по грязному снегу, мимо складских бараков с заколоченными окнами. Потом мама нервно и сильно сжимала мою руку, потому что мы шли через двор, где на ящиках сидели недружелюбные дядьки в телогрейках. «Не смотри туда», — одергивала меня мама. Я бы посмотрела, конечно, но голова не могла повернуться, потому что поднятый воротник шубы был прижат туго стянутым шарфом. Только и удавалось

разглядеть, что еще один ящик у этих дядек был вместо стола, и там, на газете, были видны куски хлеба и стаканы, как в автоматах для газировки, из которых мне не разрешали пить...

Лестница была узкая, а дверь, наоборот, широкая, от стенки до стенки. И сбоку дощечка с проводами и кнопками для звонков. Наверное их было сто. Я никогда не успевала сосчитать. И позвонить мне не удавалось. Потому что тетя Верушка ждала нас у двери с той стороны, чуть ее приоткрыв.

«Не надо, — шептала она, прикладывая палец к губам, — не надо лишнего шума».

Мама велела мне быстро проскальзывать в комнату, ближайшую к входной двери, чтобы не попадаться, на всякий случай, на глаза квартирным соседям.

Эти соседи кричали на тетю Верушку. Они не любили, чтобы к ней приходили гости. И даже медсестры из поликлиники не хотели к ней приходиться из-за этих соседей. И участковая доктор тоже сказала, что никогда не придет. Еще соседям не нравилось, что тетя Верушка выходит на кухню. Однажды, когда она поставила на плиту кастрюльку с супом, они кинули в нее этой кастрюлькой. Они ее обзывали жидовкой, уродинной, ведьмой, и она это все тихонько рассказывала моей маме, пока я листала альбом с коричневыми фотографиями.

Они обе вздыхали и говорили: «Ну, тут уже ничего не поделаешь».

Я сидела на жесткой тахте, покрытой колючим, с пролысинами, ковром, подобрав под себя ноги в кусачих толстых носках, и думала, что же все-таки можно поделать, если злые соседи ворвутся сюда, в комнату. И тут я такая вскочу, грозная, сильная, справедливая, и как размахнусь... Я оглядывала комнату в поисках каких-то предметов, которые можно было использовать в качестве устрашения. Но там не было ничего подходящего, кроме палки с резиновым наконечником, на которую опиралась тетя Верушка, когда стояла. А когда сидела, то палку свою она оставляла, куда-нибудь прислонив. Я переползала к тому краю тахты, который поближе к палке. Взгляд скользил по осыпающейся лепнине на потолке. Потом по пустым стенам. Ну — ничего, чтобы напугать злых соседей! Комната была узкая-преузкая и называлась «пенал». Вся мебель вжималась в стены в шахматном порядке. Сначала, у дверей слева стул и вешалка. Потом справа тахта, и поэтому слева уже ничего. Иначе не было бы прохода. А за проходом слева буфет с прислоненной к стеклу потрепанной открыткой со странной золотой птицей. Потом справа стол с еще одним стулом, на котором сидела мама. Видимо, где-то прятался шкаф с вещами, но я не помню, чтобы у тети Верушки вообще были вещи, кроме тех, что на ней.

У нее были худые руки, тоньше чем у меня, только с узловатыми искривленными пальцами, а платье или кофты сливались по цвету с телом так, что это как будто и не одежда.

Когда она стояла передо мной, она была крохотная, почти одного со мной роста. В лице и в волосах не было цвета. А черты лица не прочерчены. Хотелось все линии обвести цветными карандашами.

Однажды тетя Верушка сидела ко мне боком, на табуретке, и рассказывала моей маме, что доктор ей посоветовал спать на доске, но доску взять негде и принести ее некому. Поэтому «ну, тут уже ничего не поделаешь».

Я глянула и вдруг впервые поняла, почему она маленькая, с меня ростом, и всегда опирается на палку, когда стоит. Оказалось, что спина у нее была согнутая, просто кривой дугой, а на дуге — горб...

Раз в год тетя Верушка приезжала к нам в гости сама и привозила пачку квадратных и безвкусных пластинок. Как их есть и зачем, я не понимала: они были такие сухие, что их было не проглотить ни с сахаром, ни с колбасой. Но мама ужасно радовалась. Называлось это «маца-из-синагоги-но-об-этом-нельзя-никому-рассказывать».

Они пили чай, и говорили в этот день на другом языке. Такая была игра. Мама, похоже, рассказывала тете Верушке о своей жизни. Тетя Верушка поддакивала и говорила: «Аби гезунт, бубалэ!» А если я крутилась рядом и мама рассказывала ей обо мне, тетя Верушка говорила: «Зет, зет, аидише коп!»

Один раз, когда мама ушла разговаривать по телефону о чем-то важном, мы остались с тетей Верушкой вдвоем, и повисла неловкая пауза, она вдруг еле слышно запела: «Эс кумт цу флиэн ди Голдэне Павэ ин а фрэмдн ланд, хот зи фарлойрн а гилдэнэм фэдэр мит а гройсн шанд...»

«Это о птице, — пояснила она и смахнула слезинку. — Улетела золотая пава в чужую сторону. Обронила там золотое перо, к своему стыду...»

Я ничего не поняла.

Про свою жизнь тетя Верушка на нашей кухне не рассказывала, чтобы не отвлекать на себя внимание. По квартире она не двигалась. Палку свою оставляла в прихожей, чтобы не пачкать резиновым наконечником наш паркет. Ей было трудно дойти до кухни, но она ковыляла, не облакачиваясь на стены, чтобы не испачкать обои. Она старалась не пить много чая, чтобы не пользоваться туалетом. Она вообще все время хотела уменьшиться или в кого-нибудь превратиться. Ей такой, какая она была, казалось нелепо и неловко занимать место в пространстве.

У нее были две дочери, но она им не звонила. Однажды она позвонила одной из них на работу, но там рявкнули: «Вам кого?» И она, позабыв имя-отчество дочери, пролепетала: «Мусеньку. Мне Мусечку, я ее мама». Раздался хохот. А вечером дочка попросила не звонить больше ей на работу.

Домой она ей позвонить не могла, потому что там не было телефона. Телефон был у второй дочери, но она была замужем, и ее муж не любил, чтобы тетя Верушка им звонила.

«Взрослые люди, — пожимала худенькими плечами тетя Верушка, — тут уж ничего не поделаешь!»

Она вообще встретилась с дочерьми, когда те уже были взрослыми и чужими. То есть сначала она их родила и немножечко вырастила. Вместе со своим мужем. Но во время войны, в блокаду, ее муж вышел из дома и не вернулся. Ее, едва живую с голодными девочками, кто-то забрал, чтобы вывезти из Ленинграда. Рычали моторы, ревели сирены, разрывались снаряды. Все потерялись. Она кричала, но ее никто не услышал. Всех разбросали по разным грузовикам. И так получилось, что одну из девочек увезли в один детский дом, а другую — в другой. Им дали новые имена и записали другие национальности.

...Однажды тетя Верушка к нам приехала летом. Наверное, было лето, и оголилась шея, потому что даже я обратила внимание, какая она худая. И мама, увидев ее, всплеснула руками:

— Ты что-нибудь ела в последний месяц?

Она ответила:

— Я пила чай, — и добавила: — С хлебом.

— Куда ж ты девала пенсию? Что ты купила?

— Конфеты, — пробормотала тетя Верушка. — много разных конфет.

Мы с мамой, удивленные, замерли.

— Когда я выхожу на улицу, — начала тихонько тетя Верушка, — дети там, во дворе, меня окружают и дразнят. «Жидовка, — кричат, — уродина, ведьма!» И иногда даже что-то бросают в меня... Они не злые. Их так научили. А я учу их иначе. Я им хочу показать, что уродство — не всегда зло. Я — страшная, скрюченная. Конечно, они боятся. А притворяются храбрыми. Вот и кидают в меня чем попало. А я останавливаюсь и протягиваю им конфеты. Я им говорю: «Подойдите ко мне, угощайтесь, это все вам!»

Сегодня уже подошел один мальчик. Он хорохорился, шел кривляясь, все время оглядываясь на друзей. Но конфету взял, а я еще целую горсть положила ему в карман. Для других. Подойдут и другие. А если и не подойдут, они вырастут, вспомнят... Это же еще дети!

Она лепетала по-прежнему тихо, неразбочиво и невнятно. Но мне показалось, что громко и очень четко.

Ночью мне снилось, что тетя Верушка распрямляется, разворачивается и превращается в огромную, переливающуюся всеми красками золотую волшебную птицу, с такими широкими крыльями, которые смогут укрыть меня от всех бед: нищеты, одиночества, болезней, еще тридцати других и от «ну, тут уже ничего не поделаешь» — тоже...

...

11

Когда я была маленькая, родители летом полетели на самолете в санаторий, который был далеко, в поселке у моря, и взяли меня с собой.

В санаторий ночью детей не пускали. А днем можно было посидеть в холле, но только тихо и так, чтобы не засовывать под себя ногу в сандалике, потому что чехлы на креслах и на диванах в санатории были белыми. Болтать ногами тоже было нельзя, потому что чехлы спускались до самого пола и сандалики могли их испачкать. Еще можно было сидеть на стульях, но они были жесткие.

Зайти к родителям в комнату разрешалось только вместе со взрослыми. По коридору, выстеленному бордовой ковровой дорожкой, топившей звуки, надо было идти не подпрыгивая. Эта мягкая дорожка, перехваченная металлическими прутьями, спускалась вниз, вдоль ступенек, но только до входа. Оттуда начиналась жесткая гравиевая тропинка. Почему-то никто не придумал продолжить красивый ковер дальше и дальше, вдоль тропинки, потом по всей территории санатория, потом за калитку, к дорожке, убегающей к морю. Почему? «Потому что, — мне объяснила мама, — так устроена жизнь. Есть начало, и есть конец».

Мама точно знала, как именно устроена жизнь: есть послушные дети, они все красивые, и их любят, а есть непослушные, они уродливые, и их наказывают; взрослые объясняют детям, что правильно и что неправильно, дети с радостью соглашались; всем хорошо.

Все дети день проводили с родителями, а после ужина родители их отводили в «угол», который для них снимали, — вокруг санатория было много таких домишек с «углами». В большой комнате, где жила хозяйка, мне отвели кровать, отделенную плотной шторой. В этой комнате были еще такие «углы».

Когда мама договаривалась с хозяйкой, чтобы она взяла меня ночевать, хозяйка спросила: «А ваша девочка не капризная? Не будет мне здесь устраивать фокусы?»

И мама сказала: «Нет, моя девочка не нарушает границы дозволенного».

Хозяйка осталась довольна и согласилась.

Вечером мама меня приводила в «угол», а по утрам приходила меня забрать. Мне было страшно, потому что я оставалась одна и потому что штора не пропускала свет. Но я помнила, что есть начало и есть конец. С мыслью о том, что темень не бесконечна, я засыпала.

Иногда я до того, как ложиться спать, играла с другими девочками, которым тоже снимали «углы». И одна девочка вдруг сказала, что папа у нее не родной, потому что ее родной папа умер.

Умер?!

Я тут же попыталась представить себе своего папу мертвым, и у меня ничего не вышло. Получилось вообразить, что он закрыл глаза, но все равно продолжал бежать, говорить и махать руками. Потом я попыталась представить себе мертвой маму. Получилось намного лучше. Она лежала, не двигаясь, на спине, сложив на груди красивые руки, но все равно я знала, что и с закрытыми глазами она видит, когда я нарушаю границы дозволенного, и читает все мои мысли.

Потом я попыталась представить мертвой себя. Вот я лежу в хрустальном гробу, как в книжке о спящей царевне, в красивом кружевном платье и думаю, что... И тут очень резко поразило, как громом, осознание, что я уже не думаю. И не чувствую ничего. Как это?! Чувства и мысли конечны?

Я оглянулась вокруг. Вот трава. Она будет всегда. Вот небо, то темно-тяжелое и густое, как моя подсохшая и потрескавшаяся гуашь, то легкое и прозрачное, как мои новые акварельные краски. Краски закончатся. Небо — нет. Так же будет по утрам подниматься солнце и луч пробираться сквозь листву, через окно и щекотать нос... Не мне.

Взгляд заскользил по предметам, которых однажды не станет: чашка — она когда-нибудь разобьется. И все, ей конец. Обрывок газеты. Обмылок. Карандаш.

Но так же, как и сегодня, будут слышны детские голоса, потому что другие дети будут всегда. Только меня не будет.

Стало жарко. Особенно в самой макушке головы, там, где незатянувшийся родничок. Горячая струйка пота потекла прямо по лбу и смешалась с подоспевшей слезой. И мокрым стал подбородок. Меня качнуло, и я пошла куда-то к калитке, за которую было нельзя. Потому что это граница дозволенного. Я споткнулась о палку, сломанную и ничью. Но я-то ведь «чья»! И там, в санатории, была мама, которая мне не даст умереть. Я же послушная! И красивая!

Я бежала. За спиной что-то кричали девочки. Хозяйка бежала за мной. Потом мама уже бежала навстречу, потом, вернув меня к моему «углу», стояла напротив, и держала меня за плечи, и ругала, потому что я пересекла границу дозволенного. А я кричала громко, просила, чтобы меня не оставляли здесь ночью, а мне говорили прекратить фокусы, немедленно раздеться и лечь в постель. А я повторяла, что очень-очень прошу, и стучала ногами, и цеплялась за мамино платье, а она говорила строго, что нет слова хочу, а есть слово надо. Я убеждала, что не могу, не могу оставаться здесь, и было так важно, чтобы взрослые мне поверили. Но хозяйка сказала: «Стыдно быть такой капризной!» И была недовольна.

Я устала кричать и просить и смирилась, что останусь в чужом углу, одна в целом мире. Мне задернули шторы.

Я сидела во тьме, вжавшись в разогретую за день стенку, обняв подушку. Смерть, постояв напротив меня неподвижно, принялась менять форму, как в мультиках, и расплзаться. Она наполняла собой все ограниченное шторой пространство и постепенно оказалась везде: в запахе одеяла, в перьях подушки, на полу, рядом с сандаликами, в полых трубках спинки кровати, в металлической сетке под тонким матрасом. Она была в воздухе, и я ее впитывала с каждым вдохом... Конечно, если бы я захотела, я бы успела от нее убежать. Но жизнь была устроена так, что детям не разрешалось пересекать границы дозволенного.

Мама пришла за мной утром, взяла за руку и повела в санаторий. То же небо, та же трава, вдалеке — то же море. Но что-то совсем иначе, чем было вчера. Я ее слушала, но как будто не слышала одновременно. Потом я сидела в холле, как положено, ноги в сандаликах на полу. Взрослые люди говорили о чем-то своем. Я слушала и не слышала.

Мне после ночи — рядом со смертью — о чем-то рассказывала трава. И небо, и земля со мной говорили, и их я слышала. Я слышала даже море, которое было так далеко, что взрослые никогда бы мне не поверили. Но мне стало все равно. Я услышала то, что звучит внутри: что-то стучало в груди, а потом плескалось, потом наступало с ревом, как волны в бурю, и отступало со свистом. Потом закричали чайки гортанными голосами, и я не поняла, откуда этот звук, вдруг сменившийся хрипом. Изнутри или снаружи? А я сама — где? Снаружи этого мира звуков или, наоборот, внутри? А страх, он приходит извне или изнутри?

Я не успела додумать, потому что грянула музыка. Во всю мощь. Из тарелок на всех столбах. «Вышла мадьярка на берег Дуная, — разнеслось, растянулось по санаторию, — бросила в воду цветок». Я любила эту прекрасную песню про девушек, выходящих, каждая в своей стране, на берег и бросавших цветы: «Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок», — гремело со всех сторон.

Я сорвалась с места и побежала, несмотря на запрет, ворвалась в комнату мамы и папы, схватила цветные карандаши и всю пачку бумаг, хотя можно было брать только по листику. Я сбежала вниз, в холл, пристроилась на полу, положила листок на стул и нарисовала мадьярку, которая вышла на берег Дуная. Она бросает цветок. Для цветка места почти не осталось — он прилепился к краю листка и получился тощим и вялым. Тогда я решила, что это всего лишь полуцветок. И чтобы спасти его жизнь, я просто приложила к листку с рисунком другой листок, так, что не видно было границ, и на нем уже дорисовала вторую половину цветка. И он стал живой и пышный. Дунай потек, огибая маленькие островки, и быстро притек к краю второго листка. Я тут же приставила третий. Выходили, как в песне, девушки, бросали цветы. Теперь для каждой из них и их цветов было сколько угодно места. Мои листки давно перекочевали со стула на пол. Дунай устремился вперед, по полу, вдоль холла. Река стекала по лестнице вниз, и какие-то туфли, босоножки, сандалии обходили мои листки и что-то там комментировали, но слова утопали в мягком бордовом ковре. И я утопала, и уносила моя река, куда хотела, а не туда, куда надо, соскользнув с ковровой дорожки на гравиевую. Бесконечный поток с цветами лился по тропинке от входа к калитке и за территорию санатория, за забор, за границу всего...

Кто-то, наверное, позвал мою маму. Я рисовала, то лежа на животе, то сидя на коленках, измазанная, сосредоточенная. Она, прибежав, замерла надо мной и фрагментом моей картины. Я посмотрела на нее снизу. В ее глазах был знакомый ужас, потому что ее дочь нарушила границы дозволенного. А еще появился другой ужас, незнакомый, как будто произошло нечто не поддающееся представлению о том, как устроена жизнь. И смерть.

...

12

Когда я была маленькая, мне подарили двухколесный велосипед. Ослепительно-алый.

Но поскольку велосипед был двухколесный, а я маленькая, то усевшись, я немедленно потеряла равновесие и упала. Подняла велосипед, снова забралась и снова упала с ним вместе. Испачкалась.

— Так дело не пойдет, — решили папа и бабушка, которые наблюдали этот процесс. — Надо ее учить!

Дело было в летнем военном лагере. Воскресным утром. Трава, в отличие от городской, дышала: мне было видно, как шевелились травинки — отклонялись назад, раскрывая со вдохом грудь, и наклонялись вперед, выдыхая. Над травяным ворсом —

то светло-салатным, во время вдоха, то темно-зеленым, когда трава закрывалась, чуть подрагивая горчичными заостренными кончиками, — поднимался едва заметный дымок. Он переливался на солнце то сиреневыми, то синими бликами. И от этого чуть рябило в глазах. Тропинка, то с серыми пятнами россыпей острых камушков, то с песочными проплешинами, вилась между стогами сена. От непривычного пряного запаха немножко кружилась голова. Жизнь казалась вечной и бесконечной, о чем она и нашептывала мне нежно, но какими-то другими словами, потому что я еще не знала эти. Но уже знала, что если прислушаться к тишине, то услышишь что-то самое важное, важнее всех взрослых споров и разговоров. Хотелось услышать это самое важное, а остальной шум как-нибудь выключить. И лечь, прямо там, на траву рядом с тропинкой, раскинув руки, или забраться на стог, провалиться немножко, а потом начать туда ввинчиваться, пока не доберешься до самого центра. И там, в глубине, найти лаз в волшебное королевство...

Я стояла рядом с велосипедом, ослепительно-алым, девочка в белом, сшитом бабушкой ситцевом сарафане, с воланом на юбке, отделанным шелковой лентой, и с бретельками из той же ленты. Одна из них, будто репетируя будущее, тренировалась чуть что соскальзывать со смуглого плечика.

Так получилось, что у папы и дедушки с маминой стороны была очень маленькая разница в возрасте. Дедушка рано стал папой, а папа поздно женился.

Мой папа вообще познакомился с мамой в первый раз еще в самом начале войны. Даже не с ней еще, а с ее фотографией. Потому что мой папа, который служил на флоте, полетел с поручением на базу, где подводной лодкой командовал дедушка. А бабушка, которая не расставалась со своим мужем, служила там же, на базе. И вот когда туда прилетел мой папа, дедушка его познакомил с бабушкой, они оба позвали папу куда-то к себе, накормили, выпили за победу и показали фотографию четырнадцатилетней дочери. «О, — сказал папа, — на этой красавице я и женюсь». А бабушка сказала: «Нет, ни за что! Ведь вы, я чувствую, такой жук», — и пригрозила кокетливо пальчиком. А дедушка ничего не сказал, поскольку он был очень большим командиром только на подводной лодке, а дома он был подчиненным бабушки. Но поскольку папа был в том же звании, что и дедушка, или по какой-то другой причине, например почувствовав себя виноватыми, бабушка с дедушкой передали посылку для своей дочери. Дочь их жила почти одна, ну, с какой-то родственницей в Москве, куда папа летел после базы.

Папа, добравшись до Москвы и выполнив все военные поручения, вызвал на встречу маму. Та пришла за посылкой, и папа, впечатлившись ее красотой, пригласил ее к себе в гости, в какой-то дом. Хотел ли он что-то с ней сделать, то, что не принято, осталось навеки тайной. Папа всех убеждал: «На черта было возиться с целкой, когда на меня вешались грозди девок в самом соку?» А мама утверждала: «Хотел, хотел!»

Я понимала не все слова. Но очевидно, что на том свидании маму возмутило неприличное предложение, она решительно развернулась и гордо ушла, а папа уехал к своим гроздям девок в самом соку. Потому что у него оставались сутки до фронта.

Прошли годы.

Сразу после войны в Москве, в Доме офицеров был устроен на Новый год настоящий бал. Туда мечтали попасть все на свете! Дедушка — ему по рангу было положено — получил два билета. И отправил туда свою уже восемнадцатилетнюю дочь в сопровождении домработницы.

Маме там было неловко и неудобно. Она прислонилась к стене, оглушенная музыкой, смущенная и ошарашенная множеством офицеров.

А тем временем папа, такой лихой, в орденах, да еще курсант Юридической академии, в окружении свиты поклонников, едва оглядев зал для танцев, поднялся, как

это было принято, сначала в буфет. Там после рюмки-двух он поинтересовался, кто внизу, в зале, мол, все те же дежурные б... или есть кто-то свеженький? А ему докладывают, мол, есть одна, тут явно впервые, скромная и неземной красоты.

Необязательно было знать точно значение всех употребляемых папой слов, чтобы понять, что сейчас начнется самое главное.

Папа, спустившись в зал, пригласил маму на танец. Она согласилась и спросила у папы: «Вы меня не узнаете?» Потому что она-то, в свои четырнадцать, его запомнила! Но папа, услышав вопрос, сразу скис. Он готовил себя к сражению за сердце неприступной красавицы. А она — сама в руки, мол, вам не кажется, что мы встречались?

Он не скрыл разочарования. Она рассердилась, прервала танец, развернулась и снова гордо ушла от него. Он бросился следом за ней. Но она, к разочарованию домработницы, решила покинуть зал, где ее оскорбили. И поспешила домой.

А папа такой, на трофейном «опеле», пригнанном из самого Берлина, едет тихонько вдоль тротуара, как в кино, и зовет: «Садитесь, милые барышни, я вас подвезу!» А мама ему: «Ни за что! Только пешком и до самого дома!» Тогда и он вслед за ней — до самого ее дома.

Потом папа увидел, на каком этаже зажегся свет, и поднялся в квартиру.

И тут все всех узнали, расплакались от радости, что все выжили, сели за стол, выпили за победу, повспоминали всякое. В том числе бабушка с дедушкой напомнили папе его обещание жениться на маме.

В том же месяце сыграли свадьбу.

Потом вскоре папу посадили в тюрьму. Дедушку, чтобы спасти, перебросили на далекую морскую базу. Бабушка, разумеется, поехала с ним. Квартиры у всех отобрали и заселили другими людьми. Мама, как всегда, осталась в Москве, может, у той же родственницы, но на сей раз с младенцем, моим старшим братом.

Я родилась уже после того, как все снова вернулись в Москву. И однажды, когда я была маленькая, все вместе поехали летом в военный лагерь — ведь папа и бабушка, пережив всякое, все равно оказались большими морскими офицерами и командирами. Потому что жизнь вечна и бесконечна. И в воскресенье утром мне подарили двухколесный ослепительно-алый велосипед.

Когда я несколько раз свалилась, папа взялся за мое седло сзади и, приправив свою речь парой-другой непонятных, но знакомых с рождения слов, велел мне потихоньку крутить педали, а сам побежал со мной рядом, удерживая мое равновесие.

Дедушка сказал, что так я не научусь. Он предложил папе встать поодаль, напротив, а сам подтолкнул меня, предварительно выравняв велосипед, и велел доехать до папы, быстро-быстро крутя педалями. А падать — уже к папе на руки, который ждал, раскрыв объятия.

Но я шлепнулась по дороге, не достигнув намеченной цели.

На следующий день все ушли на службу. Я вывела на тропинку с серыми и песочными пятнами свой двухколесный велосипед и поехала. Я падала, поднималась, снова пыталась, расшибалась, терла зеленой травой разбитые в алую кровь коленки и так, пока не научилась.

Я поняла, что это не страшно — падать. Страшно — бояться упасть. И испачкаться.

А если не бояться упасть, то не страшно и падать.

И еще, когда совсем трудно и больно, надо себе представить что-то очень хорошее. Я представляла себе, как стану взрослой и буду смелым, непобедимым, несломленным, как папа и дедушка, командиром.

Вечером все мной гордились. Окна были открыты, и теплый ветер с пряными запахами летал по комнате. На столе — белая скатерть, в стеклянной банке — цветы.

Когда ветер их задевал, они вдыхали и раскрывали, подрагивая, синие грудки, а когда он уносился, они огорчались и сердились сиреневым трепетом.

Все сидели за столом вместе. В первый раз вспоминали при мне, как папа познакомился с дедушкой, а дедушка его познакомил с бабушкой, как они познакомили его с маминной фотографией и как бабушка сказала папе, что он жук.

Все смеялись, и перебивали друг друга, и пили разбавленный спирт, который детям нельзя даже нюхать, а папа сыпал словами, которые детям нельзя было слушать, но я все слышала. А потом папа с дедушкой пели: «Устал я греться у чужого огня, ах, где же сердце, что полюбит меня?»

Было немножко жалко, что они не замечали, что я и есть то самое сердце.

Опять прошли годы.

Жизнь пробила много сиреневых и синих дыр в королевстве, долго державшемся на волшебстве. Силы, оставив меня, брызнули во все стороны и растеклись по тропинкам с серыми и песочными пятнами. Новые было трудно собрать, но я, прислушавшись к тишине, которая важнее всех споров и разговоров, поняла: «Страшно не умереть. Страшно бояться умирать. И испачкаться. Если не бояться умирать, тогда умереть не страшно».

Ну, а когда очень больно и трудно, нужно просто представить себе что-то очень хорошее.

И вот когда мне больно или когда мне трудно — что-то одно, — я представляю себе, что я снова маленькая, а папа с дедушкой, два очень-преочень больших командира, которые могут победить всех на свете, встают напротив друг друга. Потом один из них, выравняв мне равновесие, подталкивает вперед, а второй ловит, раскрыв объятия.

И я, хоть немножко кружится голова, лечу, по-прежнему во всем белом, ситцево-шелковым и струящемся, со соскользнувшей бретелькой с плеча, все такого же смуглого...

Но когда очень больно и трудно одновременно, я представляю себе, как папа, крепко держа велосипед за седло, бежит со мной рядом.

...